

КАК МАРЬЯ-ПРАЩУРКА ПОГАННЫХ БАСУРМАН ОДОЛЕЛА

сказка

**Виктор
ОВЧИННИКОВ**

г. Белгород

Я ещё застал то время, когда в деревне Красное жила-поживала удивительная старуха. Селение возникло давным-давно на территории Острогожского слободского полка. Теперь тот посёлок называют Красное. Это один из районных центров земли Белгородской.

Даже моя бабушка Марина не помнила ту старуху молодой женщиной. А ведь ко времени моего знакомства с этой старой-престарой женщиной моей бабушке — я её ласково называл по имени и отчеству няни А.С. Пушкина Ариной Родионовной — исполнилось семьдесят лет.

Худенькая, щупленькая горбунья Мария Ивановна доживала свой век одна-одинёшенька на краю деревни, рядом с лесом. На людях появлялась очень редко. Даже в радостные праздники одевалась во всё чёрное.

Передвигалась медленно, опираясь на дубовую палку-клюку, глядя себе под ноги. А потому уже многие годы почти никто из деревенских, кроме безрукого почтальона дядьки Федота, разносившего ежемесячно скудную в десять-двенадцать рублей пенсию, и нескольких близких ей людей, не видели её лица, которое вдобавок было спрятано под большим чёрным платком.



Кое-кто из злых языков в деревне обзывал старушку за её необычный внешний вид и замкнутость ведьмой, колдуньей. Только прадеды да прабабки, которым многие десятилетия в прошлом одинокая женщина заменяла и акушерку, и деревенского фельдшера, и врача, хорошо знали трудную судьбу Марии Ивановны.

В её роду Ивановых испокон века все были необыкновенными, талантливыми, известными далеко за пределами деревенской округи знахарями и знахарками. Из поколения в поколение передавался врачебный инструмент, с помощью которого Ивановы делали даже сложные операции.

Умные и добрые люди округи кланялись Ивановым до земли, спешили угодить плодами своего крестьянского и ремесленного труда. Глупые и злые селяне, коих тоже было немало, считали лекарей слугами сатаны. И только страх преждевременно помереть от болезни заставлял и таких людей обращаться за помощью к тем, кого они несправедливо за глаза обижали недобрым словом.

Мария Ивановна доживала свой век незаметно, тихо. Последние лет пятнадцать-двадцать сельчане обращались к ней за помощью только в крайнем случае, когда уже бессильны были врачи районной больницы. И старушка многих излечивала, ставила на ноги.

С поздней осени и до поздней весны Мария Ивановна не выходила за околицу – плетёную из палок орешника полутораметровой высоты огорожу, защищавшую её двор от скота, птицы и собак соседей. В те времена люди не боялись за сохранность своей живности. Даже хаты запирались только на простые деревянные щеколды.

О том, что она жива и здорова, соседям сообщал дымок над хатой, который появлялся ежедневно к полудню.

Мало кто знал, что она по известной только ей тропинке то лесом, то полем ходила на моленье в Лесное Уколово, где по праздникам нищим да больным раздавала милостыню, да так, что от её крохотной пенсии ни гроша не оставалось.

Когда же разгоралась весна, старушка выходила во двор, кое-как ухаживала за старым ладным садом, по мере своих сил возделывала ого-

род. То, что могла бы сделать на грядках молодая женщина за час-другой, Мария Ивановна выполняла за два-три дня. Но ни у одной хозяйки во всей округе не было такого чудного огорода, ибо только Ивановна умела правильно собирать, сортировать и сберегать семена. От того, что у неё было доброе сердце и золотые руки, её растения ярко цвели, пышно разрастались и богато плодоносили. Крохотных грядок было много, и все они были обсажены какими-то диковинными лесными и луговыми растениями. Ежедневный труд был для Ивановны не в тягость. Она и не представляла свою жизнь без приятных хлопот в саду и огороде.

Но больше всего ей нравилось ухаживать за огромной русской печью в своей скромной хате – чистить её от сажи, подправлять стены глиной, подбеливать, приводить в порядок печной инструмент. Лежанка на печи была главным лекарем хрупкого тела старушки. А иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы, Святых, украшенные белыми вышитыми рушниками, в углу между печью и столом лечили её светлую душу. Когда приходил черёд по полудню растопить печь заготовленным впрок хворостом, Мария Ивановна, преодолевая старческие боли, даже чуточку распрямлялась и, глядя то на огонь, то на икону Пресвятой Богородицы в красном углу светелки, усердно молилась.

Со стороны светлицы к русской печи деревенским печником Никитой ещё до войны с фашистами была пристроена обычная печь-труба, которая помогала добавить тепла в лютые холода. Тогда в ход шли не только хворост, который требовался для приготовления пищи ежедневно, не только поленья в небольшие холода, но одно-другое ведёрко уголька, который Мария Ивановна покупала осенью в райтопе и хранила под пристроенным к сеним деревянным навесом. Уголёк, чаще «семечки», был с песочком, тепла давал мало, но во время крепких морозов всё-таки спасал.

Когда же лето клонилось к осени, Мария Ивановна любила уходить в лес иногда на целый день, а иногда и на неделю. Собирала ягоды, грибы, орехи, нужные для приготовления снадобий травы и корешки. Разговаривала с птицами и зверушками, проверяла, зацвели или нет высаженные ею лекарственные травы.

Мяту — так ту надо собирать в пору цветенья в конце августа. Сила её многократно возрастает, если заготавливать её у болота, где корни питаются серебряными водами многочисленных родников. И так обстоят дела с каждой лечебной травинкой. Сила трав ведома только знахарям и знахаркам. Только они умеют с ними разговаривать, обладают даром уговорить их отдать лечебную силу.

Там же, у старого и наполовину пересохшего болота, Ивановна долго сживала под старым ясенем, любуясь полётами нескольких пар горлиц и думая о чём-то своём — сокровенном.

Давным-давно внучку Марью знахарскому делу обучил дедушка, который сироту с трёхлетнего возраста и поднял на ноги. Старик научил её грамоте, приготовлению пищи, ведению хозяйства, распознавать многочисленные языки растений и животных, воспитал в православной вере.

Особо вложил в душу потребность искренне молиться. Внучка не раз слышала, как дед шёпотом молил Бога о спасении душ её мамы и папы, умерших молодыми от тифа. Следом за дедом девочка повторяла молитвы, запоминала их.

У Марии Ивановны в Красивом были две подруги, которым хотя и было по семьдесят лет, но годились они ей скорее во внучки, чем в дочери. И все потому, что сами те подруги считали, что Мария Ивановна уже давно перешагнула сто двадцатилетний возраст.

Одной из подруг была моя родная бабушка Марина, которую прозвали в деревне Бирючиха, а другая — бабушка моих двоюродных сестёр — Екатерина по прозвищу Огниха.

Неподалеку от деревни Красивое, в поле, возле карьера, где несколько колхозных кирпичных заводов добывали глину, в те годы ещё сохранялся со времён войны старый полевой военный аэродром.

На единственную посадочную полосу — обычную полевую дорогу — в один из июньских дней 1966 года и приземлился старенький, потрёпанный войной кукурузник Ан-2. Кукурузные поля он никогда химикатами не обрабатывал, считался самолётом транспортным. Но прозвище других «аннушек», обслуживающих колхозы и совхозы, приклеилось и к нему.

В те времена для детей сопровождение стар-

ших в таком самолёте не требовалось, как и свидетельства о рождении. И меня вместе с несколькими пассажирами за неполный час два молодых пилота доставили по назначению. Кукурузник, хотя и выжимал 130-140 километров в час, болтаясь по воздушным ямам, преодолевал межрайонное расстояние быстро. А от Нового Оскола до Красного по прямой было меньше сотни километров.

Это был сверхнадёжный транспорт, потому что даже с заглохшим мотором спокойно планировал и садился на любой грейдер — обычную земляную дорогу и даже поле или луг.

Правда, цена билета на такой самолёт была по тем временам высокой. Летали только по острой необходимости. Люди по большей части немалые расстояния преодолевали на попутных, перекладных, в кабинах тракторов и кузовах машин, на телегах и санях. Студент вуза или учащийся училища, техникума, отправившийся на учебу в областной центр или отдаленный город области по полгода, а то и по году, как правило, не появлялся в родном доме.

К своим неполным восьми годам я, только что окончивший первый класс и наслаждавшийся первыми днями каникул, уже имел достаточный налёт на кукурузнике — на мой взгляд, быстром и удобном транспорте, которого ныне на межрайонных трассах так не хватает.

Родители каждый летний месяц меня отправляли к бабушке погостить на недельку-две. Возвращался обычно я вместе с бабушкой Мариной — с моей «Ариной Родионовной», которая, паря в небе на кукурузнике, без усталости молила Бога простить её, грешную, что забралась так высоко.

Всякий раз я рвался в Красивое с таким жаром, с каким через неделю-другую желал вернуться назад — домой к маме и папе.

В этот год мне казалось, что продержусь в деревне ещё меньше. Война во Вьетнаме разгоралась. Отношения между СССР и США испортились. Телевидение и радио почти каждый день сообщали о военных столкновениях и очередных жертвах с разных сторон. Я мало понимал в том, что происходит в мире. Но опасения взрослых передавалось мне в виде детского страха перед чем-то действительно несущим угрозу и беду. «Главное, чтобы не было

войны!» — эти слова мы, дети, слышали от учителей, родителей и соседей почти ежедневно. Особенно — от стариков на улице, которые в жаркие летние месяцы по воскресеньям на закате рассаживались на лавочках и судачили о войне и втором пришествии Господа, о грядущей расплате за грехи.

Особое волнение у нас вызывали разговоры о войне инвалидов и калек, которые по праздничным дням православного календаря собирались перед Успенским собором в Новом Осколе, чтобы скрасить одиночество и собрать кой-какую милостыню. Награды на их гимнастёрках или фуфайках убеждали нас в том, что к мнению этих людей следует особо прислушаться.

Люди тогда были добрые, сердобольные и щедрые. Те, кто посещали собор, брали с собой много мелочи, хотя и у самих животы день-другой в неделю от голода гудели. Но всю мелочь по справедливости раздавали убогим. А они, хоть и собрав весьма скудное подавание, на него могли протянуть всю неделю, до следующего воскресного дня.

На аэродроме, где, кроме посадочной полосы, больше-то и ничего не было, меня встречал мой личный «почётный караул» — две боконогие бабушки в цветастых кофточках, застиранных и заштопанных юбках, с корзинками в руках: худая брюнетка — Бирючиха и полная круглая невысокая блондинка — Огниха. Серебро старческой седины, высыпавшееся на их головы после утраты мужей и детей, за годы изнурительных пятилеток, кровопролитной войны и трудного восстановления разрушенного хозяйства только украшали их длинные, заплетённые в толстые косы волосы, а глубокие морщины-рубцы на лицах делали их ладными, добрыми и мудрыми.

Когда мотор самолёта заглох, открылась дверь и пилоты спустили простой трап-лестницу — даже тогда мои бабушки продолжали молить Господа уберечь «железную птицу» от падения и, не отрывая свой взор от голубого неба, без усталости крестились.

О том, что я прилечу в Красивое, знал и мой дед Иосиф — Ося, и его вторая жена — бабушка Варвара, которая после смерти его первой жены Анны вместе с дедом поставила на ноги восемь детей — четырёх приёмных и столько же

совместных. О тех детях, которые умерли во младенчестве в первом и втором браке, дед Ося не любил никому рассказывать.

Повозиться со мною в духе «дореволюционного» казацкого служилого воспитания в письме, отправленном ещё в мае, деда просил отец. «Сталинский сокол», подполковник милиции, отец неизвестно по какой причине считал очень важным, чтобы в моей памяти сохранились воспоминания о единственной связующей ниточке нашего родового древа — православном русском мастере, казаке-белогвардейце, неуступчивом в принципах веры в Бога, Царя и Отечество, о не верящем в большевистские обещания «земного рая» единоличнике, не вступившем в колхоз и за то выброшенном на голое поле вместе с семьёй на окраину деревни, о крестьянине, всю жизнь посвятившем сбережению русского ремесленного мастерства, в плодах которого остро нуждались в те голодные годы люди, одуроченные большевиками. Дед умел делать почти всё — от деревянной ложки и хомута до телеги и сундука.

Но всё-таки главное его мастерство проявлялось в рассудительности. Он всё умел разложить по полочкам, докопаться до сути, глядеть в корень. Старого, подтянутого, с красивой бородой «белогвардейца и антисоветского элемента» мои бабушки — православные большевички к аэропорту в очередной раз не подпустили. Вступать с Бирючихой и Огнихой в споры он считал ниже своего достоинства, зная, что я и так замучаю бабок просьбами отвести к деду. Так было уж не раз...

Жил я у бабушки Бирючихи — так её звали чаще всего деревенские. Марину Матвеевну — красавицу я боготворил и с особой радостью произносил слово «бабушка». Оно мне казалось волшебным и загадочным. О моей драгоценной и незабвенной «Арине Родионовне» я могу рассказывать без усталости.

На второй день моих каникул, забрав по дороге бабушку Огниху, мы втроем пошли в сторону леса — в гости к Ивановне. Кто такая Ивановна, я тогда ещё не знал. Да мне, собственно, было всё равно. С утра я жил только одним — ожиданием вечера, когда меня на один день с ночёвкой бабушка должна была из рук в руки передать деду, как она говорила, «контре», «монархисту», кото-

рого она бы «шлёпнула из револьвера и не моргнула глазом».

Дошли до Ивановны скоро.

Бабушки по дороге пели религиозные песни, а я следом заучивал слова и мотивы. Помню многие. Одну из них о странниках, которые идут на Божий суд, в узком кругу близких мне людей пою и по сей день.

Ивановной оказалась горбатая старушка — то ли сказительница, то ли знахарка, то ли ведьма. Во дворе было разбросано много разных палочек, и я сразу кинулся подбирать себе такую же, какой была клюка у этой самой Ивановны. Мне казалось, что, опираясь на клюку, я буду более значительным, важным и взрослым.

Пока я подбирал себе палку для забавы, мои бабушки, не переступая порог сеней хаты, о чём-то тихо пошептались с Ивановной так, чтобы я не слышал. В конце концов мне стало ясно: какое-то время я буду находиться под присмотром старой-старой чужой бабушки. А мои няньки-охранники, сообщив мне об этой новости, расцеловав и дав жменю конфет «барбарисок», куда-то поспешили.

Уже потом, повзрослев, я узнал от моей «Арины Родионовны», что не было лучше их — Бирючихи и Огнихи — плакальщиц на похоронах в деревне. В те времена не было и духовых оркестров, и синтезаторов с колонками, как ныне. Да и что может заменить красивый голос, что может быть волшебнее, радостнее и печальнее народного пения?.. Стоило Бирючихе и Огнихе заголосить, как слеза текла по щекам даже у твердокаменных мужиков или просто равнодушных людей. В тот день кого-то хоронили, и без бабушек — деревенского «оркестра» — было не обойтись.

Горбатая старушка оказалась доброй и разговорчивой. Усадила меня на табурет рядом с небольшим камнем, который ею использовался зимой в качестве гнёта в кадучках с соленьями в подвале, положила рядом молоток и поставила полную корзину лесных орехов.

— Поди, сам, малец, справишься, — добродушно обратилась ко мне Ивановна, присаживаясь рядом на лавку. — Бирючиха сказывала, что сноровку в колке лесных орехов имеешь, пальцы не плющишь, её запасы да запасы Огнихи за неделю-две изводишь.

— А что тут такого? Молотком ударяй себе по орехам — вот и всё умение. Пустяки. А запасы у них большие. От меня утаивают, чтобы растянуть на всё лето. Я даже дров наколоть могу. Правда, пока маленьким топориком, и то — щепу. Вот отец — тот пни даже раздирает колуном. А поленья для него грызть — дело обычное, только топор и звенит, — похвастался я.

Родители считали меня неутомимым говорун-болтуном. Мама даже иногда обзывала «бабой рязанской». Почему? Не знаю. Но выводов из маминых рассуждений я не делал. Молчать сызмальства не любил, а потому с каждым годом говорил всё больше и всё складнее. Пересказывал на память почти дословно сказки и рассказы, даже взрослые разговоры, которые вёл отец с гостями. До школы в детском саду удивлял своих воспитателей стройностью и смыслом речи, обилием используемых слов и терминов.

А когда мне исполнилось шесть лет, в 1964 году, в нашей семье, единственной на улице, появился телевизор «Рекорд-64». И тогда я заговорил политическими терминами...

Один раз случилось ЧП, то есть чрезвычайное происшествие. Когда сообщили в новостях, что освободили от должности главу партии и государства Н.С. Хрущева, я эту, как мне показалось, важную информацию тут же разнёс по улице. Преподносил новость соседям своеобразно — так же, как её первым оценил постоянно подвыпивший инвалид — фронтовик Игнат Александрович: что, мол, «стране Сталин нужен», а не новая «троица» — Брежнев, Подгорный и Косыгин, ибо они — «хрен редьки не слаще». Он так и называл их без имени и отчества.

Отцу о моей политинформации, проведённой в ближних дворах, быстро донесли соседи — люди степенные, честные, неболтливые и непроданные, с чувством юмора и любви к детям.

Папа безо всяких-яких взял меня за шкуру, завёл в сарай и отодрал как следует широким жестким ремнём от портупей. От порки умнеешь сразу. С тех пор о политике я в детские годы «рассуждал» только сам с собой или по секрету — с бабушкой «Ариной Родионовной».

И всё же моя говорливость нравилась отцу. Он от души смеялся, слушая мои рассуждения и умозаключения, и особо гордился мной, когда «Арина Родионовна», подводя итог какому-то

очередному моему детскому рассуждению, намекая на ненавистного ей деда Осю, замечала: «Лаврушина порода».

— ...Бабушка, покушайте орешки, — обратился я к Ивановне, подавая жменью чистых ядрышек.

В семье я был приучен строго следовать правилу: первая ложка — дедушке и бабушке, вторая — папе и маме, третья — детворе. Окончательно на всю жизнь я усвоил это правило после того, когда один раз за столом дед Ося дал мне по лбу большой деревянной ложкой за то, что я хотел первым выхватить из горшка вареник.

— Вот, добрая душа, порадел о беззубой. Голубок ты мой ясный, дай тебе Бог здоровья! Тако ж, унучек, не жую я их корешками. А вот под вечер, чтоб одной не скучать, соберусь да потолку в ступе как след, потом поутру орехову-то пудру — в творожок. Гляди, чернявый да кареглазый, и вечером, и утром о здравии твоём молиться буду. Капля добра, а благодарности — родник. Во вона какова цена заботы! — Старушка прижалась ко мне и чмокнула в щёку.

Я не увернулся. Наоборот, был собой доволен. Подумал: «Эх, жаль, что нет рядом деда Оси. Ему бы было приятно, он бы покряхтел, да, может, свою казацкую портупею подарил».

«С тебя от ласкового дела не убудет, а старикам приятно тебя, мальчика, приголубить, — обычно в таких ситуациях наставлял меня отец. — Они-то, глядя на тебя, скольких своих деток умерших вспоминают! Сопли при том не распускай, но и не ежечись, будто сто иголок, — небось, не ёж. Мужик на то и мужик, что всё уметь должен: и повоевать, и поработать, и почаёвничать, и комплиментов не должен тяготиться!»

Какие такие «комплименты» существуют, о которых говорил отец, я тогда и понятия не имел. Но усвоил, что чмокнуть меня, потрепать за чуб, похлопать по плечу, ущипнуть за жирок на животе взрослым доставляет приятность. Потому и сносил их нежности. Чтоб дед да отец не обижались. Знал: они дурному не научат.

Солнце, хоть и находилось в зените, меня и Ивановну не тревожило. По соседству с хатой рос огромный дуб, и мы уселись в его тени.

— А ты жуй, жуй орешки, малец. Ешь, пока рот свеж, а завянет — никто не заглянет, — будто пропела поговорку Ивановна.

И добавила к ней ещё мне не известные: «Что детям в радость — то старикам сладость», «Не ту-

жу — на дитя гляжу», «С детками — как с цветками», «Круглолицы — ангелочки-Божьи птицы».

— Бабушка, а кто вас научил так-то говорить, будто песнь поёте? Складно так, звучно, — поинтересовался я.

Кровь прилила к моим щекам, но я всё ж не смутился. Интересоваться всем-всем у взрослых не боялся. Родители меня никогда не одёргивали, рот не затыкали, на все мои вопросы терпеливо отвечали, хотя перед людьми и не раз краснели из-за моих детских выходов.

А интересовался я многим.

Рядом с нашим домом в Новом Осколе располагалась женская тюрьма (колония) для особо опасных преступников, два переполненных детских дома, дом ребёнка, где подрастали брошенные дети — здоровые и больные.

В километре-полуторах — Оскол, в трёх километрах ходьбы — лес лиственный, полный тайн и загадок, а в другую сторону — такой же, но сосновый, выросший после войны на местах ожесточённых сражений. Тут же неподалёку несколько дворянских и купеческих домов, две братские могилы, памятники героям войны, древние подземные ходы. За мостом через реку — цыганский табор, а в классе — одноклассники: дети соседские, детдомовцы, дети цыганского барона, местного батюшки и начальства. В общем, от моих вопросов у родителей кружилась голова. «Ну, в каждой бочке затычка», — смеясь, оценивала мою любознательность мама.

— Так прапрадед твой, Лавр Овчинников, и научил! — напомнила о себе ответом на мой вопрос Ивановна. — Он во всей нашей округе единственный, окромя, конечно, помещика, был образованный, — говорил будто пел. Нет, читать да писать некоторые деревенские перед погибелью царя Александра научились, но чтоб книжки умные читать с разбором да пересказывать — то только Лавр да поп и умели. Лавр и деда Осю — тот тогда твоих лет был — всему обучил, особо — не руками работать, хотя они в породе вашей почти у всех мастеровые, а умом, — подытожила Ивановна.

Помолчала с минуту, наблюдая за тем, как я с открытым ртом, полным непрожёванной ореховой мякоти, слушал её рассказ.

В любознательности и прыткости я укоротил-

ся. Ума у меня тогда хватало только осмысливать верх ответов, в глубину заглядывать не умел.

Видя, что я нахожусь в некотором замешательстве, старуха продолжила рассказ:

— Пел прапрадед твой, унучек, необыкновенно, просто, по-крестьянски, но будто за Господом нашим Иисусом Христом повторял заповеди. Голосика был пуще грома и его раскатов, а надобно ему — то напор сбавит и звенит, как ручей. Как голос он так мог укоротить, мне неведомо. Я и сама по молодости голосом выделялась. Но Лавр!.. Бывало, до шелеста листы и шороха травы мотив выведет, до капли дождя. Мог, конечно, и соловьём заливаться, и медведем зарычать. Пел и в церкви, тако ж все на колени падали, пел и в поле — усталость у земляков как рукой снимало, пел и за столом — люди горькую пить бросали, потому как за ним мотив тянули, душою оживали. Людям он голосом душу лечил, и надо ж, без выпивки его душа пела, — как бы уже сама с собой разговаривала Ивановна. — Давно... Как давно это было... Хотела бы сказать этак и то, да так-то то, а память одно решето. Однако ж, милай, что о головушке-то тужить, с языком надобно дружить. Когда думка не идёт, язык до Москвы доведёт! Ага, таперича вспомнила. Пел, Витик, прадед твой все ж редко, потому как почтовое государево дело по всей округе на его плечах было. Да добавь казацкую сотню в узде держать! Да и деду Осе всю жизнь не до пения было. Восемь ртов накормить, да налог Советам выплати, да председателям всяким угоди, чтоб в Сибирь не спровадили за «противление советам», да сам с бабкой, да двух родственников пригрел — вот тебе и дюжина ртов, почитай, орава, — старуха умолкла.

Мне было радостно.

«Вот деду Осе вопросов-то позадаю, пусть-ка он про прапрадеда порасскажет! Теперь-то я докопаюсь, что это за Лаврушина порода», — составлял я план себе на вечер.

— Бабушка, а расскажите мне сказку, да такую, что вам ваша бабушка рассказывала. Да чтоб военную... в общем, про войну! Да чтоб, когда перескажу Бирючихе и Огнихе, так бабушки мои ахнули!

— Ну что ж, милай, сказку так сказку. Было этак, было так, сказку сказывать пустяк! Про

войну так про войну. Я их-то много знаю, всю жизнь складываю. Вот пойду-то в лес, а там что ни дуб, то сказочник, что ни горлица, то сказительница, — так-то распевая слова, Ивановна с улыбкой посмотрела на меня: мол, верю я в то, что она щебечет, иль нет.

Я верил и тогда, верю и сегодня. Сказка — она и есть настоящая правда, самая что ни на есть правдивая история.

— Ну, сказывай скорее, Ивановна! Сил уже нет ждать. Вот Огниха — так та враз сказку скажет. Часто повторяет одну и ту же, а я вида не показываю. Мне-то надобно, я сказку-то её заучиваю, — поделился я своим сокровенным с Ивановной, — а потом всем на улице рассказываю, как вы сказали: было этак, было так, сказку сказывать — пустяк!

— Ну и ну! Уж схватил, уж запомнил! Что ж, слушай, малец, — может, будешь молодец. В сказке каждой будет прок, если съешь её урок. Сказку скоро расскажу — не горюю, не тужу. — Подготовившись таким образом к рассказу, Ивановна начала сказывать:

— Сказка моя про Марию-знахарку, прашурку мою, — о том, как поганых басурман она одолела. Знаешь ли ты, Витик, кто такая прашурка? — поинтересовалась Ивановна, наливая в кружку из кувшина топлёное молоко с прыгаркой и доставая из-под рушника тарелку с блинами.

Слова я этого не знал, никогда не слышал. Поэтому и помотал головой: мол, не знаю.

— Ты кушай, милай. Бабки твои сказывали, что любишь молоко с прыгаркой. Не кури цигарку, пей молоко с прыгаркой! Вот и принесли они с собой кувшин. Я-то за коровой уже ходить мочи не имею. А блины мои на травах и ягодах. Такие даже царям не подают, потому как рецепта не знают. От моих блинов у едоков ума добавляется да душа светлеет. Во рту блин, да не один. Молока хочу, да ус мочу. Полон живот, а все ж не закрывается рот: то ль зевнёт, а то ль поёт. Кушай! Кушай! А я покамест сказывать буду. Так вот, прашурка, — сообщила мне Ивановна, — это по-нашенски, по местному говору, у Дона, — бабушка, которой нынче исполнилось бы тысячу лет, будь она не на небесах, а здесь на земле. Понятно сказала?

Ивановна строила речь по-другому — не так, как мои бабушки. Она добивалась от меня,

чтобы каждое её слово я не просто слышал, а понимал.

— Понятно! Понятно, бабушка, — перестав колотить орехи и принявшись за блины с молоком, ответил я. — Я понятливый. Папка — не пращур, а отец. Дед Ося — первый дед, а прапрадед Лавр — третий дед, а пращур... — тут я погонял пальцами правой руки по пальцам левой и сообщил свое мнение: — Пращур — это сороковой дед, а пращурка — то сороковая бабушка. Коль за век четыре Овчинниковых, то за десять — сорок в одном роду.

— Вот тебе на! Я так-то сосчитала, только когда девушкой стала. А ты ещё под стол бегаешь, а смышлён, — защebetала Ивановна.

— Да, бабушка, счёту нас в школе учат. Но не такому. Так-то дед Ося сосчитал, а я запомнил. Только он про кольца на родовом дереве наставлял, а про пращуров не сказывал. — Мне даже самому понравилось, что не соврал, сказал правду.

— Что ж, тогда слушай дальше, — в этот миг Ивановна вся светилась, была похожа на мою первую незабвенную учительницу Марию Никифоровну Гридасову — аристократку по духу, талантливую, добрую и справедливую. Царство ей Небесное! Вечная память!

— Так вот, открывай рот, — продолжила Ивановна, — звали мою пращурку Марией. В нашем роду многих так называли... Красавица она была писаная. Да не по зубам женихам местным. К своим осьмнадцати годам уже славилась знахарством. В те времена был наш народ-то русский, что сухая глина в комках: в кирпич не собрана да в печи не обожжена. Племен — сотни, а родов — тысячи. Почти что сколько трав и цветов в лесу! Как они звались, пращурке было ведомо, а мне — нет. Наш же род, и не один, сродный ему, людьми лесными звался. У каждого рода — имя пращура, а тех, что жили ближе к Дону в пограничье с басурманами, куколовыми родами обзывали.

Старушка остановила сказ, с трудом, опираясь на клюку, встала и медленно направилась в хату.

Минуту-другую спустя вышла, неся в левой руке холщовый мешок. Уселась на лавку. Достала из мешка два льняных выцветших рушника и мужскую серую сорочку. Положила рядом так, чтобы я мог хорошо видеть вышивку, которая покрывала почти всё пространство изделий.

— Вот, Витик, язык нашего рода, — погла-

живая по орнаментам корявыми пальцами, сообщила Ивановна. — Мои прапрабабушки этот язык знали, а я только сберегаю, а читать подлинно не могу.

— Это почему же? — поинтересовался я. — Вот крестики, а то — как бы птички!

— Так-то оно так, да разве то чтение, когда на знаки разбираешь, а историю сложить не можешь! Что с того, что из слова один слог пропеть могу? А? — возразила мне Ивановна.

— То правда! Что даст слог «са» — может, «сам», может, «сало», а может, «самолёт». Тут и другой такой же слог не помощник, — согласился я.

— Ну и смышлён ты, Витик, будто в часах винтик! Однако ж это наш язык! — не без гордости заметила сказительница. — И он, гляди, какой красивый и богатый! Вот всмотришься, вот вона вышивка на рубахе — битва с погаными в чистом поле, коршуны побивают стаю чёрных воронов.

— Да где ж, бабушка, здесь коршуны? Да и стай воронов не вижу! Тут-то всего один коршун вышит, и в когтях его — один ворон! — перебил я старушку.

Та рассмеялась, не переставая поглаживать рубаху.

— Вот я и говорю: язык пращурки и пращуров не только богатый и красивый, но и глубокомудрый, — пояснила мне Ивановна. — Гляди, вот сколько стежков от крыльев коршуна, столько ж и было у него братьев! А теперь-то гляди, какая туча чёрная, — множество стежков за вороном, то тьма ворогов поганых.

— Погляди-ка, по рисункам всё-таки читаешь — знать, мне лукавила. — В моём взгляде читалась обида.

— Что ты! Что ты, Витик! То и всё, что за век смогла прочесть. И то потому, что сказ про Марию-пращурку знаю. Ну что про неё-то, воительницу, сказывать иль разобиделся?

— Ничего я и не разобиделся! — успокоил я старуху. — Коль правду сказала, тогда буду сказку слушать, а нет — так к плетню пойду, там и бабушек буду дожидаться. На старших обжаться нельзя: так папка учил!

— Правду-правду, милай, сказала! Не бери бабуку в охাপку, а скажи ей слово ласково, будешь и сам внучком обласкан! — скороговоркой защebetала Ивановна. — Я ведь «книгу» нашего рода — рубаху да рушники — отцу твоему решила отдать.

Он у тебя сыщик, в академиях учится. Я вот скоро помру, а кто всю эту летопись распознает? Возьмёшь-то подарок и отцу передашь?

— Возьму, чего там, — успокоил я Ивановну. — Дед Ося, тот тоже станки свои в сарае, каждый раз мне да отцу показывая, поглаживает, резинки всякие там крутит, говорит, что электричество ему заменяли, и приговаривает: «Это летопись нашего рода. Они — твои». А скажи, Ивановна, как эти самые станки-летопись мне до дому доставить? — поинтересовался я у старухи. — У нас ведь в городе сарайчик маленький.

— Так, может, он вовсе не станки тебе хочет подарить, а память о них. Такой подарок, Витик, во сто крат дороже деревяшек и железа. Подрастёшь — тогда думку деда Оси разгадаешь, да и в том, что такое память, разберёшься. Придёшь уже парнем крепким, да станки и заберёшь.

Ивановна с любопытством посмотрела на меня.

— Вот и ты, как бабушки Бирючиха и Огниха, заладила: «Подрастёшь да поймёшь!» Разберусь как-нибудь. Учительница нас научит.

Ещё один блин я съел с удовольствием. Поглядел на Ивановну, которая не могла на меня нарадоваться, и пробубнил:

— Все бы блины съел... Очень уж вкусные. Но погожу, пока с десятков бабушкам оставлю. А коль откажутся, тогда-то махом и доем.

Допил молоко с прыгаркой, поставил на лавку кружку и показал всем видом, что готов слушать сказку.

Её я запомнил и расскажу слово в слово. За одно только переживаю: позабыл многие присказки, прибаутки да поговорки удивительной старушки.

* * *

Итак, пращурка Марья, сороковая бабушка Марии Ивановны, жила в глухом месте, далеко от людских глаз.

Таков был удел всех поколений знахарок. Они должны были, образно говоря, раствориться в лесном мире, уметь перевоплощаться в деревья, кустарники, цветы, мох и травы. Тогда они у природы обретали полную силу лекарского дела.

От отца Марья переняла знахарское мастерство и добавила к нему свет своей души и

собственные чудесные открытия того, как извести и изгнать болезни.

Отец её жил в другие времена, когда царил мир и не было войн. А вот Марье выпала другая доля. К болящим от напастей добавились раненые воины. Их болезни были другого рода, и избавлять людей от них Марья научилась сама.

Лесные люди её любили, а она им помогала чем могла.

Почти ежемесячно она приходила на селище и приносила каждый раз новый травяной сбор. Разводила костёр и нагревала воду в огромных чугунах. Вокруг костра ещё до ее прихода каждая большая семья рода устанавливала свой глиняный сосуд. Марья бросала в них мешочки с лекарственным сбором и наполняла горячей водой.

Только она одна знала, до какого жара должна была быть нагрета вода и сколько времени мешочки должны находиться в кувшинах. Только Марья знала заговоры, которые она нашёптывала, пока готовилось снадобье. От этого и многого другого, нам нынче неведомого, зависела жизнь и смерть сбора в горячей воде, а значит, и превращение обычной воды в живую — лечебную.

Её отвары укрепляли душу и тело родичей, предохраняли от болезней, заносимых ветрами из степей и возбуждаемых звёздной пылью с небес. Законом было употребление отваров всеми — и здоровыми, и больными. Оттого лесные люди были сильными, крепкими и стойкими, жили долго. Не было даже на дальнем расстоянии от селища и селец дружины могучее и храбрее, чем у князя Мстислава.

Спустя некоторое время Марья удаляла мешочки из кувшинов, складывала их в свою корзину. Их ещё предстояло закопать в особом месте — на погосте болезней.

По неписаному закону рода, только знахарка имела право выбирать себе суженого самостоятельно. Сама решала, когда обзаводиться семьёй. Остальным же девушкам мужей сыскивали старейшины. Женихи почти всегда увозили невест в другие сельцы, оставляя взамен парням красавиц-сестёр из отдалённых лесных чащ.

Когда наступало жаркое лето, только в глубине леса сохранялась прохлада. Её опушки наполнялись девичьим говором, юношескими озорными возгласами да детским смехом. Молодежь и дети устремлялись в доступные мес-

та леса, чтобы собрать грибы и ягоды, лесные плоды и орехи, стрелой сбить дикую птицу. Но заходить в глубь непроходимого леса — за болота — им было строго-настроено запрещено. В лесную чащу даже самые отчаянные воины не отваживались отправляться.

И не потому, что там обрывалась земля людей, а потому, что там начинался мир зверей — лесных богов, управляющих светом и тьмой, бурями и ветрами, жизнью и смертью.

Среди этого мира зверей-богов умел жить только один человек из рода — знахарь или знахарка. После смерти отца такая доля выпала Марье. Когда случалась беда у родичей или они нуждались в срочной помощи знахарки, птицеловы выпускали из клетки горлиц, и те быстрее ветра мчались в лес к старой деревянной хижине, которая была построена на высоких дубовых опорах прямо посреди болота. Такое необычное строение на «курных ножках», в отличие от огромных домов-полуземлянок в селище и сельцах, придумал один из прадедов Марьи. И теперь бревенчатый сруб был полностью неподвластен водам, уровень которых в болоте поднимался на пять локтей, то есть поболее сажени.

Не было ещё ни одного человека, который бы нашёл скрытую тропу в болоте и добрался до этой загадочной обители знахарей. Только одна Марья знала дорогу к дому предков. Даже в самые холодные зимы болото не замерзало, так как вокруг били подземные ключи. Болото было таким огромным, что с окраины леса, с места, где начинались непроходимые топи, до хижины не долетала даже стрела самого искусного лучника.

Если горлицы не находили Марью в хижине, они разлетались по сторонам и быстро разыскивали её в самых укромных уголках леса. И уже не покидали знахарку, пока та в их сопровождении не приходила из лесу в селище на помощь к родичам.

Большая беда пришла в конце июля.

Князь Мстислав собрал старшую дружину неподалёку от селища, на поле боевых игр.

Уселись прямо на землю под кронами огромных ясеней и дубов. Князь восседал на большом валуне на высоком месте. Марья-пращурка стояла, прижавшись к старому дубу, поодаль за спинами дружинников.

— Тьма поганых басурман приближается к нашему селищу и сельцам близких родственников. В этот раз их во много крат больше прежних стай. Никогда столько степняков не доходило до наших лесов, — нервно рассказывал воинам князь Мстислав. — Даже если все братья с дружинами выйдут со всех селищ рода да подойдет куколова дружина, то у брода соберём воинов едва четверть от тьмы поганых. Не устоим. Войско лесных людей, куколовых людей, селища отдадим на разграбление. Стариков побьют, баб да детей в полон уведут. А потом поганым чистая дорога в северские земли к Чернигову. Потому и собрал вас, старшую дружину, чтоб думу разрешить: биться или избегать боя.

Марья сидела молча. Она хорошо знала традицию: знахаря или знахарку приглашали на такие тайные советы только с одной целью. Князь давал понять, что следует готовиться к страшной сечи и постараться сделать всё, чтобы уберечь в случае ранений князя его братьев и старших дружинников — тех, кто выдюжит.

Старшая дружина недолго обсуждала слово князя и тоже по традиции приняла решение — всем семьям укрыться в лесу. А всякий, кто может держать меч в руках, обязан сражаться под предводительством князя Мстислава.

Такое решение означало одно: ценой гибели войска лесных людей и куколовой дружины нанести поганым басурманам такой урон, чтобы стаи врагов-стервятников уже не могли продвигаться вперёд и повернули назад в степь. На том и порешили.

Однако ж мало кому было ведомо, какая воительница родилась и возросла в тот век на земле лесных людей. Не знала о том и сама Марья-знахарка. После того совета решила она свой дар знахарки оборотить на военную ратную пользу лесным людям. Больно уж жалко ей стало своих братьев-дружинников да куколовцев. Тем более она разгадала, что её знахарские умения в этот раз не пригодятся. Дюжить, лют пришёл враг! Никого не пожалее: ни героев битвы, ни пленённых, ни раненых да истекающих кровью.

То же хорошо понимал и князь Мстислав, а потому решил побережечь девицу: она лесным людям в другой раз пригодится.

А прашурка — вольная птица — прямиком на болото. Скоро собралась да отправилась в путь-дорогу.

Три ночи и два дня летела, будто горлица, навстречу тьме басурман поганых. Знала: соберётся злая сила у Айдар-места, чтобы по бродам перелететь через Дон-реку. И не ошиблась.

На закате, будто парящая в небесах орлица, издалека увидала тьму поганых басурман. Множество костров разогревали огромные чаны, в которых варились конина. А поодаль, в поле, огромные клыкастые прирученные волки пасли табуны лошадей. Долгий переход из степи к реке в земли лесных людей их утомил. Кони поедали сочные травы, набирались сил, подолгу лёжа в траве без движения. Какого окраса только не было! И гнедые, и серые, и рыжие, и воронные, и белые, и соловые, и булановые, и каурые... Такой красоты Марья-знахарка никогда в своей жизни не видела. Вот эту красоту она и пришла погубить, чтобы спасти своих родичей.

Идти по берегу, а потом полем было опасно. Кругом горели костры у дозоров басурман. Да Марья-знахарка помудрей их оказалась. Скинула с себя одежды, натёрлась с головы до пят медвежьим жиром, чёрным-чёрным от добавленной в него сажи. Стала что ночь темна, а скользка — не ухватишь. Оборотилась русалкой, подхватила свой кожаный мешок. Проверила, не распустилась ли верёвка на его горловине, и вошла в Дон-реку. Таперича она была как рыба-вырезуб — не поймаешь запросто, не ухватишь, сколь ни старайся!

Против Дон-реки плыть нелегко: силушки и волюшки надо много. Больно крут берег да быстро течение! Только Марья одна и могла справиться. До крови ноги, до костей руки то ободрала, намучилась девка храбрая, воительница отважная. Душа светлая!

В том месте, где главные табуны ходили по степи да чаны для питья лошадям были устроены, крут берег. Там-то Марья уцепилась за змея-корневище. Передохнула, осмотрелась. И только потом выползла на берег у Айдара — крутого шумного поворота реки.

Перво-наперво погубила охрану табунную. Раскидала по-за берегом мелкие кусоч-

ки мяса птицы-смерти болотной, собранные ядом гадюк да умасленные дурман-травой. Спряталась в осоку. Замерла. Дурман-траву ветерок потянул по округе, всю стаю волков собрал.

И сто раз кукушки не прокуковали в яругах, как подошли слуги поганых. К тому времени кони-то ещё не почуяли свободы от волчьего присмотра. Гуляют по степи, боками трутся, гривами ласкаются, строй табуна держат, на вожака озираются.

Поплакала-поплакала Марья-знахарка. Лопшадь, будто птицы небесные, жалки ей были. Да делать нечего. Красота басурманная погубить лесным людям несёт, но коней-то губить и не собиралась.

Пронеслась по степи, будто ветер. Разбросала сон-траву, перемешанную со сладкой пудрой корневищ болотных. И — снова к Дон-реке. С берега наблюдает.

Вот дозоры проехали. Вздуродражились. Волков словно ветром унесло.

К Дон-реке не приближаются, оттого гору погубленных охранников не обнаруживают. Стали дозоры поганых будить да всю округу осматривать. Да куда там! Всюду тишина и покой. Притихли. Выставили больше дозоров и сторожевых станиц да погонщиков. Без коней-то и войско не войско.

А Марья-знахарка сидит себе в камышах, наблюдает за погаными. Рассыпались звёзды по небосводу, полная луна возгорелась.

К тому времени кони и слизали языками Марьино зелье. Стали копытами стучать по земле, гул пошёл по степи. В разные стороны помчались, снося всё на своём пути. Ржанье коней поганых ужас вселило в сердца басурман.

А снадобье то было непростое. Оно коня боевого от страха выучки освобождала, превращая в вольную птицу.

С рассветом поганые басурмане обнаружили, что превратились в пешее войско. А басурманин без коня теряет три силы — скорость и ловкость, силу стрелы и копья, сплочённость волчьей стаи. То ж и надо было войску князя Мстислава.

Подошла рать до Айдара. Увидали поганые дружину сильную, воинов храбрых и побежа-

ли что есть мочи в степь. А войско Мстислава — за ними. Почти всех изничтожили.

А Марья-то, прячась у берега, и не ждала беды. Да дружинники куколова войска схватили её. К князю Мстиславу ведут, будто поганую басурманку. А она-то и впрямь всем своим образом на неё похожа: полуголая, грязная, простоволосая.

Глядит князь Мстислав на девку — своим глазам не верит: перед ним Марья-знахарка. Учинил князь допрос, да девица во всём и создалась.

Восхитились дружинники отваге и храбрости знахарки, в пояс ей поклонились. Каждый норовит перстень драгоценный, а то браслет бесценный в награду подарить. Только Марья отмахивается, не знахарки дело — золото-серебро собирать.

И тогда князь Мстислав придумал ей награду по чести и совести. Всем в округе лесным людям да куколову племени наказал впредь звать знахарку Марьей-воительницей, чего сроду среди воинов лесного народа не бывало. С тех пор в каждый поход князь Мстислав брал знахарку, а на праздниках победных восседала Марья-воительница на равных со старшими дружинниками.

* * *

— ... Вот и сказ мой простой, — завершила свое повествование горбатенькая старушка Мария Ивановна Иванова — знахарка из деревни Красивое. — Вспомню пращурку — душа поёт, её жизнь — пример, а подвиг — мёд. А тот мёд не по усам течёт. Он питает ум, будит сонмы дум. Главная-то дума о земле родной. Помни подвиг пращуров, будь и сам герой!

Вот так старушка Ивановна сказывала, будто песни пела.

Вскоре пришли за мною бабушки Бирючиха да Огниха. Поблагодарили Ивановну за пригляд. Блинов отведали, что я им приберёг, меня расцеловали за заботу. Сами же в узелочке принесли гостинец — пирожки. То, что с поминок, в тот момент я не знал.

Я в благодарность за сказку чмокнул Ивановну в щёку.

— Вот сердобольный, — заметила Ивановна, обращаясь к моим «охранникам». — Давай уж, Витик, по-православному... Чмокай ещё пару раз.

Мне было не жалко. Мне даже хотелось, потому что я полюбил сказительницу. В тот день я разбогател — у меня нашлась ещё одна бабушка... А на закате моим воспитанием занялся дедушка Ося.

□

Виктор Васильевич ОВЧИННИКОВ

родился в 1958 году в селе Скородное Белгородской области.

Историк, общественный деятель,

кандидат исторических наук, доцент, профессор

Международного славянского университета им. Г.Р. Державина,

член-корреспондент Международной

Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.

Автор многих историко-культурных и краеведческих работ,

а также монографий, учебников и учебных пособий.

Живёт в Белгороде.

